

# Петр Немировский По нью-йоркскому времени

## По нью-йоркскому времени

*Что сказать о людях, еще живых,  
но уже сошедших с земного поприща,  
зачем возвращаться к ним?*

**Тургенев, «Дворянское гнездо»**

*Любовь никогда не перестает,  
хотя и пророчества прекратятся, и  
языки умолкнут, и знание  
упразднится.*

**Послание св. апостола Павла**

## Глава первая

### 1

Таможенник раскрыл поданный ему паспорт.

– Уезжаем, значит, в Америку? Золото? Брильянты? Оружие? – спросил он и взглянул, сравнивая прилизанного парня на маленькой фотокарточке с этим – долговязым, взлохмаченным, в джинсовом костюме. Темные круги у него под глазами, щетина на впалых щеках. Видать, с

перепоя.

– Оружие? Наркотики?

В ответ Михаил пожал плечами. Голова его раскалывалась. Сейчас впору бы смотреть не моргая, отвечать складно и четко, с серьезной миной. Но его губы вдруг изогнулись в улыбке. Михаил всегда улыбался в такие минуты, когда нужно бы сурово молчать. Но предательская дурацкая улыбка появлялась сама собой. Вот и сейчас, когда через минуту он пересечет черту на бетонном полу и сразу станет эмигрантом, он улыбался. Хотя по спине пробежала дрожь.

– Вот ваш паспорт.

Спрятав паспорт в карман, Михаил сделал пару шагов. Свободно вздохнул. Оглянулся – чтобы запомнить всех, кто стайкой стоял за ограждением: Стас, Витька, Охрим. И две незнакомые девки, вчера Витька их привел поздно вечером, когда воздух за окном стал черным и водку уже не закусывали. Михаил помахал им рукой. Витька ему подмигнул, Охрим стал яростно, с остервенением крутить ус, девушки что-то прокричали. Но вдруг взревели турбины – взлетал самолет, заглушая голоса.

Все. Пора.

– Гудбай! – крикнул Михаил. Повернулся и пошел, сунув руки в карманы джинсовой куртки. Походочка у него легкая, пружинистая. И выправка

гвардейская. И годиков ему – тридцать два.

В баре, осушив рюмку коньяка, он, наконец, расслабился. Откинулся на спинку стула, по привычке взлохматил густые темно-русые волосы. Прикрыл глаза и так, неподвижно, сидел, пока горло не отпустил спазм, и слезы на длинных ресницах не высохли.

В динамиках затрещало. Мужской голос сообщал: «Приближаемся к аэропорту Кеннеди. В Нью-Йорке – плюс тридцать. Влажность – восемьдесят процентов». По салону пошли стюардессы, проверяя, пристегнуты ли ремни.

– Видите красный огонек? – спросил у Михаила сидящий рядом мужчина. – Это – факел в руке Статуи Свободы. Вот оно, счастье...

\* \* \*

В аэропорту его встречал дядя Гриша. Он стоял в конце длинного коридора, по которому Михаил катил тележку с двумя огромными сумками.

– Мишка! Племяш!

За семь лет дядя Гриша, в общем-то, мало изменился. Он из той породы, что не поддается ни времени, ни пространству. Низенький, хорошо сложенный, с копной жестких волос. Смуглый,

просто бронзовый, за что в Бершади его прозвали Эфиопом.

– На таможне обошлось без пыйключений? Все о'кей?

Голос у дяди Гриши слегка огрубел, но все такой же бархатистый. Говорит он, как и прежде – нараспев, с сильным акцентом идиш; «ф» порой превращается в «й», словно скачет по гладким камешкам. Михаил любил эту речь, в ней звучали теплые летние ночи над уснувшим местечком. Э-эх, ночи-ноченьки над южным еврейским местечком...

– А ты возмужал. Сколько лет мы с тобой не виделись? Бог ты мой, как время-то летит... Ну пошли, а то дома водка замейзнет, – дядя Гриша улыбнулся, открыв потемневшие зубы и золотые коронки.

Асфальт, нагревшийся за день, остывал, отдавая тепло душному, загазованному воздуху. На стоянке диспетчер руководил погрузкой пассажиров. Подъезжали желтые кэбы.

– Бруклин, – пропел дядя Гриша адрес, когда они вдвоем плюхнулись на заднее сиденье. И с его идишистским акцентом да на американский манер прозвучало «Бьюклин».

Машина покатила по трассе, за окнами замелькали бензозаправки, жиденские перелески.

– А зачем здесь стекло? – спросил Михаил, указывая на толстую стеклянную перегородку

между водителем и пассажирами.

– Стекло пуленепробиваемое. На случай, если водителя захотят прихлопнуть. Но эти стекла никуда не годятся, лопаются от одного выстрела, – дядя Гриша закурил, выпустил струйку дыма в приоткрытое окошко. Важно помолчав, добавил. – Это, племян, Амейика.

А где же небоскребы? Нью-Йорк представлялся Михаилу ярким грохочущим пеклом. А машина въехала в плоский полутемный Бруклин, где один к другому жались невысокие домишки. Изредка попадались освещенные пяточки, и тогда Михаил замечал манекены в витринах, прилавки с выложенными на них овощами и фруктами и вдоль тротуаров – горы черных мешков с мусором.

\* \* \*

Сидели за столом втроем – Михаил, дядя Гриша и его жена Ева. Красная икорка поблескивала яркими зернышками, хвост скумбрии торчал из селедочницы, на стекле «Столичной» оттаивал иней.

Михаил, уже после душа, по-домашнему в спортивных штанах и футболке, распаренный, потягивал минеральную воду. Наконец-то он нащупывал хоть какую-то почву. Последние недели перед отъездом все перевернулось и завертелось в

его жизни: билеты, визы, ОВИР, ЖЭК. Бесконечные взятки. Пьянки. Как мог, он все же старался держать себя в руках. Умудрялся даже ходить на занятия английским. Частная преподавательница Лена слушала, как он читает про семью какого-то мистера Брауна и о том, в каком прекрасном доме тот мистер Браун живет. «Китчен. Дайнинг-рум. Бед-рум». Михаил читал, следил за произношением, завидуя этому благополучному парню, мистеру Брауну, у которого и семья, и собака, и дом.

А вот у него – все вверх тормашками. Уезжает в неизвестность. Мир детства, юности, всегда казавшийся таким прочным, незыблемым, вмиг развалился. Михаил чувствовал себя чужим в родном городе. Одинок бродил по улицам, без конца курил, до тошноты ел мороженое и желал одного – чтобы проклятое время бежало быстрее. И до последнего дня опасался, что тот мерзавец пойдет к следователю и подаст иск...

И вот теперь возникла хоть какая-то определенность. Таможня беспрепятственно пропустила. Самолет, слава Богу, не шлепнулся. Страхи позади. Он – в Нью-Йорке. Сидит за столом у родственников, слышит знакомые голоса. Неужели все это – не сон?!

– А ты молодец, что уехал. Мы всегда там были чужими. Амейка – классная страна. Во –

страна! – дядя Гриша отогнул из кулака большой палец. Он уже слегка осоловел. – Ты кто по специальности?

– Инженер.

– Ах да, ты же закончил Политехнический... – как-то безнадежно протянул дядя Гриша.

– Кому здесь нужны инженеры? Пусть сразу идет на вэлфер, – вмешалась Ева. Она опасалась, что племянник – лентяй, приехал и сядет им на шею, потом возись с ним.

– Конечно, первым делом на вэлфер. Будешь, Михась, получать пособие по безработице и нелегально малярничать со мной. Заживешь, как у Хйиста за пазухой.

– Может, он хочет стать программистом? Ты не дави на него, а то потом останешься виноватым, – сказала Ева.

Дядя Гриша отрицательно покачал головой:

– Пусть сначала заработает тысяч десять, осмотрится, а потом идет, куда захочет. У нас теперь, видишь ли, все русские, оц тоц первертоц, стали программистами. Борика, мужа моей Алки, помнишь? Ах, да, ты же у них на свадьбе был свидетелем. Так вот, Борик закончил курсы и теперь программист. А когда-то его за «двойки» вышвырнули из нашего бершадского хедера. Недавно они купили дом в Нью-Джерси, завели собаку. Живут по-амейикански. Повезут тебя в

пятницу к себе, сам все увидишь. Эх, забрали у меня внуков... – дядя Гриша вдруг погрузнел. Покрутил в руке пустую рюмку. Загадочно улыбнулся. – Прочел недавно в газете, что «Столичная» по потреблению на втором месте в мире после «Смирнофф». Спрашивается: почему не на первом? Вроде пьем ее, пьем... Племян, где твоя рюмка?

Звякнул хрусталь рюмок, хрустнули малосольные огурчики.

– А как поживают твои в Израиле? – спросила Ева.

– Нормально. Мать подрабатывает уборками, сестра – клерк в банке, отец занимается ремонтами.

– Это твоя мама и сестра виноваты, не терпелось им. Подождали бы еще немного – и получили бы от нас вызов, тоже уехали бы в Америку. А ты почему тогда с ними не уехал?

– Сам не знаю, – он пожал плечами. – Мне тогда и в Киеве было неплохо.

– И правильно сделал, что не поехал в Израиль, – одобрил дядя Гриша. – Израиль, конечно, наша историческая родина, но лучше всего эту родину любить, живя в Америке.

\* \* \*

В спальне горела настольная лампа. На стене,



над кроватью, два толстопузых ангелочка держали красный бант.

Михаил разделся и, выключив лампу, рухнул на кровать. Голова слегка кружилась. Он попытался хоть как-то упорядочить все услышанное и пережитое за день.

Вот – дядя Гриша, брат отца. Маленький, уставший. Отец называл его то «золотой пчелкой», то «эфиопской клячей». Потому что дядя Гриша когда-то пытался стать ювелиром, повадился носить домой перекупленное у воров золото и едва не загремел в тюрьму. Тогда отец Михаила – по праву старшего брата – увел младшего с «золотых приисков» и обучил его малярному делу. Из «золотой пчелки» дядя Гриша превратился в «эфиопскую клячу». Тащил воз, на котором сидели: двухсотпудовая Ева, дочка, зять и внук. Вот и теперь, судя по замученному виду, тащит. И не ропщет. Бьюклинская кляча.

Они – дядя Гриша, отец, Михаил – все из одного корня. И лица у них чем-то похожи, и темно-карие глаза похожи, и голоса. Они – из клана Чужиных, и основатель их клана – дед Самуил. Он погиб в тридцать девятом году в Кемеровской области. Остановка поезда у поселка, за которым находился лагерь, и по сей день называется «517-й километр».

Михаил повернулся на бок, сладко зевнул.

Спать будет до третьих петухов... И поплыл куда-то. Нет, не в Киев, а почему-то в Бершадь, в местечко под кудрявыми липами.

Там, у забора, на деревянном ящике сидел старик с белой окладистой бородой, в латанном-перелатанном пиджаке. Важно сопел и, поднимая вверх скрюченный указательный палец, спрашивал у прохожих: «Вы знаете, что в Израиле инфляция?»

Приезжая в Бершадь, Михаил сразу замечал, что у него, коренного киевлянина, вдруг появляется едва заметный акцентик идиш. И он уже не говорит, а как бы поет, и даже картавинка легкая проскальзывает.

В доме дяди Гриши на столах сушилась домашняя лапша, а над нею летали мухи. В шкафу поблескивали корешками «Граф Монте-Кристо» и «Милый друг». Михаил был первым, кто однажды достал эти книжки и от нечего делать перечитал. К большому удивлению, если не к ужасу хозяев дома. Ева даже сбегала за соседкой и, подведя ее к приоткрытой двери, прошептала: «Видишь, он чита-ает...»

По вечерам, после всебершадского променада по главной улице, где в центре стоял памятник Ленину, а по сторонам – спиртзавод и валютный магазин, семья собиралась во дворе, в беседке. Судачили о разном, спорили о политике. Дядя

Гриша костерил власть и ратовал за мелкий частный бизнес. Говорил, что уедет, как только «поднимут железный занавес». Пили спирт. Под хмельком дядя Гриша мог запеть какую-нибудь веселую песню на идиш или заунывную русскую. Отец подхватывал. Потом они вспоминали Дальний Восток, Биробиджан, где провели детство.

Порою за забором проезжала телега. Странная скрипучая телега. Когда-то, лет сто назад, шолом-алейхемовская голытьба грузила на такую же телегу свой скарб и отправлялась за лучшей долей в Америку...

Была свадьба: дочь дяди Гриши – Алка, выходила замуж за Борика. Свадебное платье прислали родственники из Нью-Йорка, купив его в каком-то захудалом бутике на Брайтоне. Платьем этим очень гордились, а бершадские девушки, узнав, что у Алки платье из Нью-Йорка, от зависти скрежетали зубами. Правда, к радости подруг, Алка его малость испортила по дороге в загс. Сначала вступила в глубокую лужу у дома, а потом, садясь в «Запорожец», не подобрала подол и захлопнула дверцу. Ажурный шелк, уже здорово заляпанный грязью, разорвался. Крику было... Мата... Жених Борик тоже кричал – у него вдруг разболелось ухо, и он все порывался удрать к врачу, а свадьбу умолял перенести. Но шансов у него практически не оставалось – Борик был зажат с обеих сторон

невестой и двухсотпудовой Евой.

Михаил там был свидетелем, шафером. Потому что родственник, да еще из Киева. В ресторане к нему подступали незнакомые мужчины и женщины – спрашивали, не знает ли он, сколько денег вбухано в эту свадьбу и действительно ли это «рваное платье» – из Америки? Доверительно сообщали, что «вот-вот поднимут железный занавес», нужно готовиться.

Дома поздней ночью вскрывали конверты. Комментируя каждое вскрытие. О-о нет, вскрывали не конверты, а человеческие сердца, проверяя подлинность чувств приглашенных родственников и друзей. Алка – в белых перчатках, с ножницами, – разрезала. Борик ей ассистировал. Новоиспеченная теща принимала деньги. Поздравительные открытки непрочитанными летели в мусорное ведро.

Михаил вышел во двор. Звезды, тяжелые и яркие, висели на черном, удивительно глубоком своде небес. Воздух был напоен ароматом, вся земля усыпана белыми цветками. Где-то вдали раздались скрипы. Несмазанными осями скрипела телега, на которой грудой лежали чемоданы, баулы, торбы.

– Куда вы едете? – спросил Михаил у возницы.

Тот весело пропел в ответ:

– В Америку. В Бьюклин.

## 2

Утро выдалось ясное. Улицы под сентябрьским солнцем уже не казались такими мрачными, как вчера вечером. Утро улыбалось летящей паутинкой, грудастой блондинкой с рекламы, предлагавшей ортопедические матрасы. Часто слышалась русская речь, старики и мамыши с детьми покупали овощи и фрукты. Словом, обстановка показалась Михаилу не столь уж чужой. Он закурил и, позевывая, зашагал к подземке. Поехал оформлять пособие по безработице.

Вагон пестрел рекламами. Не вполне понятного содержания. Почти все сиденья были заняты: китайцы громко переговаривались, негры жевали гамбургеры, хасиды в лапсердаках раскачивались над раскрытыми молитвенниками. Вавилон. Разнообразие лиц, одежд, языков. Непонятные надписи. Неясные сообщения из трескучих динамиков.

Михаил закрыл глаза. Он-то ожидал, что нью-йоркское метро – это место перестрелок и ограблений. Был готов ко всему. По совету дяди Гриши, положил в наружный карман один доллар, чтобы сразу отдать, ежели чего... Перестрелок и ограблений, похоже, не будет. Но почему-то с такой

ясностью вдруг вспомнились улицы Киева, мощенные булыжником, отвесные кручи, синие июльские вечера... Вчерашняя жизнь, понятная и родная, становилась бесконечно далекой. Ненужной. Безвозвратно утраченной.

\* \* \*

...А Нью-Йорк в конце столетия благоденствовал. На фондовой бирже торги ежедневно заканчивались на положительных отметках. Акция покупалась за доллар и в тот же день продавалась за десять. В биржевые игры по своей или чужой воле втягивались миллионы людей.

Самым популярным человеком в городе, да и, пожалуй, в стране стал Ален Гринспэн – сын местечковых евреев, выросший в Бруклине. Этот, неприметный на первый взгляд, лысоватый мужчина стоял у руля Федерального резервного фонда США. На все вопросы о том, как он умудряется вести финансовый авианосец страны, Гринспэн отвечал, что по вечерам залезает в теплую ванну, там читает свежие газеты, потом полностью расслабляется, и гениальная мысль рождается сама собой. Ему верили. Его фотографии помещали на обложках даже поп-журналы, он становился эталоном идеального мужчины – в

противоположность голливудским мальчикам.

Увы, пройдет еще пару лет, и дела на Уолл-стрит пойдут из рук вон плохо. Миллионы американцев в считанные дни потеряют целые состояния. Гринспэна начнут тихо ненавидеть. Вспомнят, что он еврей. Обложки журналов изредка будут помещать его последние фотографии – с кислой улыбкой и многовековой скорбью в потухших глазах...

Впрочем, все это впереди, пока же на Америку проливается золотой дождь.

Быстрые перемены происходили во всем. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани расправлялся с мафией. За решетку попали крестные отцы знаменитых итальянских кланов. Газеты пестрели фотографиями донов и их семейств, пресса пыталась создать иллюзию, что нью-йоркская мафия все так же сильна, как в тридцатые или шестидесятые годы. Заряд, однако, быстро иссякал: современные доны в сравнении со своими предшественниками оказались, по сути, главарями уличных банд. Пресса досадовала – мафиозный ренессанс не удался. Зато жители Нью-Йорка облегченно вздохнули: мафия побеждена. Мафия бессмертна только в кино.

Реконструировали целые кварталы, парки, мосты. Стометровый участок Бруклинского моста ремонтировали почти пять лет. Мэрия щедро

выделяла деньги. Периодически из кабинетов выводили в наручниках госчиновников, уличенных в получении взяток.

Знаменитая Сорок вторая стрит, улица секс-шопов и тайных притонов, превращалась в одну из самых благопристойных улиц Манхэттена. Десятки лет в дверях там стояли проститутки, нагло зазывая прохожих в темноту сералей. Мрачные типы рядом продавали наркотики. Мэр Джулиани решил покончить и с этим. Он издал указ, запрещающий секс-шопам существовать вблизи от общественных мест. Хозяева еще недавно конкурирующих борделей создали коалицию и единой ратью пошли в городской суд – с иском на мэра. Мэр ответил, что принимает вызов и адвокат ему не нужен. Проститутки и сутенеры с волнением ожидали исхода битвы.

Появились первые жертвы этой войны – полицейские, которых выдала одна бандерша, публично заявив, что копы из такого-то участка сами пользовались услугами ее девочек, приходили в определенные дни, а за это гарантировали неприкосновенность заведению. Полицейских разжаловали и уволили.

Суд все же отдал победу мэру. По мосту из сверкающего Манхэттена в полутемный Бруклин покатали эшелоны проституток, сутенеров и наркоторговцев.



А Сорок вторая превращалась в одну из красивейших улиц города: открылись Музей мадам Тюссо, «Старбакс кофе», «Армани». О нехорошем прошлом этой улицы напоминал лишь вполне благопристойный бродвейский мюзикл в новом театре.

«Я принял Рим деревянным, а оставляю его мраморным», – когда-то горделиво изрек император Август. «Я принял Сорок вторую как улицу притонов, а оставляю ее улицей театров», – сказал мэр Джулиани.

Эти слова он произнес накануне очередного суда, отвечая по иску собственной жены, которая потребовала у мужа кругленькую сумму за супружескую неверность. Суд на этот раз отдал победу женщине. Мэр должен был выплатить бывшей жене шесть миллионов долларов и отдать ей особняк в обмен на личную свободу, а также на право в оговоренные дни видеться с детьми и любимой собакой.

Происходило множество и различных мелких событий: санэпидемстанция сражалась с крысами в подземке, лопались заржавевшие водопроводные трубы, прорывало газопроводные трассы. Столбы огня и потоки воды на улицах свидетельствовали о старости огромного города, вернее, о безнадежной обветшалости конструкций столетней давности. Летом на Бродвее проходил ежегодный парад

секс-меньшинств, а спустя несколько месяцев – тоже на Бродвее – парад в День Колумба. Неутомимый мэр Джулиани всегда шел во главе колонн, размахивая то трехцветным итальянским флагом, то семицветным флагом гомосексуалистов...

Однако ко всем этим и многим другим событиям Михаил пока не имел ни малейшего отношения. Он жил в Нью-Йорке только второй день и долго блуждал в поисках здания, где безработным оформляли пособие.

## Глава вторая

На письменном столе – чашка чая, подсвечник, в котором расплылся огарок свечи.

Алексей сложил стопкой исписанные за ночь страницы. Листов тридцать. Почерк у него некрасивый, буквы маленькие и кривенькие, с каллиграфией – старые счеты. Потому что в школе на подоконниках наспех списывал домашние задания. Впрочем, важно ли это теперь?

Он еще раз перечитал написанную первую главу. Вот тебе и Герой его романа – Михаил Чужин. Немножко авантюрист, немножко фронт. Алексей даже на миг позавидовал этому парню. Сам-то Алексей не был таким разудалым, как его Герой. Напротив, себя Алексей считал тряпкой.

Доволен ли он началом своего романа? Похоже, удалось передать то состояние. Да-да, приблизительно так: новая жизнь еще не началась, а прежней как будто никогда и не было...

Ощущения одинаковые, а истории разные. Скажем, Алексей приехал в Америку не один, а с женой и родителями. У него была специальность – журналист. С ним – отец и мать – больные старики, которые нуждались в операциях, и только в Америке эти операции могли тогда сделать. Была жена. Н-да, жена... Она ушла от него через три года после приезда в Нью-Йорк – связалась с каким-то брокером с Уолл-стрит. Сложила вещи и исчезла. Ну да Бог с ней.

И еще была мечта. Нет, не мечта – что-то страшнее, родственное смерти. Желание писать.

Все годы в Нью-Йорке Алексей работал журналистом в русских газетах. Мотался по городу, строчил статьи. Опекал родителей, неделями не выходя из госпиталей. И тихо умирал, потому что не подходил к письменному столу. А без этого собственная жизнь значила для него мало. Гроша ломаного не стоила. И вот, после долгих сомнений и бедствий, наконец, дерзнул.

...О-о, белый лист бумаги! И острое ручки, оставляющее за собою шлейф мелких буковок. И таяние свечки, и дымок над чашкой с нежными длинноклювыми птицами...

Светало. Можно было еще вздремнуть, по четвергам в редакции разрешено появляться позже – номер ушел в типографию накануне. Алексей сладко потянулся, хрустнул пальцами, завел будильник. И под мелкое тиканье «тонк-танк» лежал с закрытыми глазами, пытаюсь заснуть.

Ему тридцать восемь. Он одинок. Свое горячее иммигрантское он уже отплакал. Он давно живет в Нью-Йорке – так долго, что порою забывает, в какой стране жил раньше. Он знает, что той страны уже нет. И Города тоже нет. В его старом доме разломаны стены, новые жильцы там все перестроили и одели окна чугунными решетками. Дом...

Не так давно Алексей ездил в свой родной Город. Не находил там знакомых улиц. Не узнавал друзей – разбогатели, растолстели, обрюзгли; жены, дети, любовницы.

Алексей вернулся в Нью-Йорк со странным ощущением, что он однажды уже умер. Потому что все эти долгие годы Город жил без Алексея, а он – без Города. А все, что он помнит, что еще кровит в душе, – это лишь память. Миф. Прах.

Он не любил Нью-Йорк. И Америку, ту Америку, какую знал и понимал, тоже не любил. Но годы брали свое: он и сам не заметил, как привык, пустил корешки прямо в раскаленный асфальт на Таймс-сквер и в сырую землю Центрального

парка...

Взорвался будильник. Алексей встал и пошел бриться. Увидел в зеркале бледное пятно с русыми волосами и темным полукругом щетины. Подумал – не забыть отдать Герою свои длинные ресницы.

\* \* \*

В редакцию идти не хотелось. Заявись – снова придется мчаться куда-нибудь на пожар или на акцию протеста защитников пушных зверей.

Репортерство когда-то помогло Алексею вжиться в Нью-Йорк. Незабываемая лопнувшая водопроводная труба на Юнион-сквер, озабоченный прораб в каске. Алексей – в мокрых ботинках. Озябшие пальцы на кнопках диктофона.

А вечером на телеэкране в «News» Алексей увидел знакомые затопленные улицы, прораба и себя – в стайке журналистов. И словно исчезла какая-то незримая стена. Нью-Йорк – до сих пор непонятный и потому далекий – вдруг стал осязаемым, проник в мокрые ботинки и озябшие пальцы. А потом пошло-поехало: пожары, лечебницы для наркоманов, суды...

Алексей вошел в сквер, заказал в ларьке кофе, закурил. Подумал о своем Герое. Увидел его – идущим оформлять вэлфер. И в этот миг в сердце кольнуло. Словно тонкая иголка прошла насквозь.

Алексей прикрыл глаза, наслаждаясь этой, почему-то сладкой, болью...

## Глава третья

### 1

Офис, где нищим оформляют государственное пособие.

Получив номерок, Михаил отошел и сел в ожидании. Низкие потолки давили, придавая небольшому залу подобие тюремной камеры. Негры и латиноамериканцы в кожаных куртках, обвешанные золотыми цепями, в ожидании вызова втихаря курили какую-то дрянь и клацали кнопками магнитофонов; детишки кувыркались на заплеванном полу; несколько негритянок кормили грудью младенцев.

Михаил смотрел на них и завидовал... их свободе: чувствуют себя вольготно, курят, болтают. Все им здесь понятно, как дома.

Неподалеку от Михаила, в уголке, вжавшись в стулья, сидела пара белых. Что-то до боли узнаваемое было в выражении их лиц. Затравленность. Отчаяние... Наши.

Вдруг раздался звон разбитого стекла. Какой-то негр, обкуренный марихуаной, врезал кулаком в оконное стекло. Брызнули осколки.

Вбежавшие полицейские сбили дебошира с ног, предварительно пару раз огрев его дубинками. Надели наручники и поволокли. Пришла уборщица, лениво собрав битое стекло, стала мыть пол вонючим раствором. Поигрывая дубинками, копы сделали несколько грозных кругов по залу. Воцарилась мертвая тишина. Сигареты были погашены, магнитофоны выключены, дети усажены на стулья. Полицейские, однако, скоро ушли, и притихшая публика опять ожила. Снова загремел рэп, поднялся галдеж, – наверное, так галдят в негритянских деревнях.

Михаил ждал приглашения. Но вызывали только черных. Наверное, потому что клерками тоже были негры. Им было приятно лишний раз унижить белого. Пусть подождет.

– Майкл Тчужин, – услышал наконец Михаил. «Чужин» пропал. Появился «Тчужин». Черт-те что.

Михаил заполнял какие-то анкеты, отвечал на вопросы. А толстый клерк ухмылялся. Его явно забавлял этот долговязый олух, который по десять раз переспрашивает: «А?»

– Америка – карашо. Нет коммунизм, – сказал вдруг клерк, выучивший потехи ради парочку русских слов. И снова перешел на английский.

Плохо, когда над тобою насмеваются. Понимаешь это не по словам (слов-то еще не понимаешь). Чувствуешь нутром. Еще хуже, когда

не можешь достойно ответить, осадить, поставить на место. По-русски – не поймут, по-английски – еще не можешь. Приходится заглядывать в рот этому развеселому негру, пытаясь разгадать смысл слова еще до того, как это слово будет им произнесено. Совсем плохо, что некого винить. Только себя. Почему так плохо учил английский? Зачем валял дурака в институте? И вообще – зачем уехал?!

– Америка – карашо. Нет коммунизм, – повторил клерк, отдавая Михаилу какую-то бумажку. Улыбнулся, обнажив крупные белые зубы.

Лицо Михаила посветлело. Он вышел, вернее, вылетел, окрыленный. Первая маленькая победа! Он справился. Даже показалось, что выглядел не таким уж идиотом. Посмотрел на бумажку, которую ему выдал клерк: «Майкл Чужин направлен на отработку вэлфера в Бруклинский суд». Работать прокурором, что ли? Михаил усмехнулся, сунув бумажку в карман, зашагал к подземке.

## 2

Песок, прогретый за день, медленно остывал, но был еще ласково теплым. Чайки находили в песке небольшие углубления и, поджав лапки,



садились погреться. Волны выбрасывали на песок водоросли и прозрачных медуз.

Михаил брел вдоль берега. Остановился возле огромного камня, разделся и побежал в воду.

Океан! Прохладная, покалывающая тысячами мелких иголочек вода. Соль во рту. Мышцы рук наливаются силой. Кажется, плыл бы и плыл. Туда, где носятся моторные лодки и белеют паруса яхт...

Потом он сидел на камне, курил. Бухта, чайки, бархат солнечных лучей – все это так напоминало Крым, где он еще совсем недавно отдыхал с Олей. Не будь той проклятой поездки, может, все в его судьбе сложилось иначе. По крайней мере, он и сейчас жил бы в Киеве. Это уж точно. Разрешение на въезд в Америку лежало в ящике письменного стола, а уезжать он не собирался.

...Они познакомились на даче у Витьки, ее привела подруга. Шашлыки, коньяк, костерок, стреляющий искрами. Гитара – «трень-трень».

Потом все разбрелись парами, и Михаил остался с Олей у костра. О чем-то болтали. Доели печеную картошку. У нее были красивые руки и невинные глаза. Она была одна в эту ночь. И он был один. На чердаке на полу лежала какая-то шкура, а на стене висела голова оленя с ветвистыми рогами. Оля отдалась ему там, и утром, натягивая джинсы, пошутила, что, наверное, теперь пахнет каким-то зверем.

Оба подразумевали, что на этом их знакомство закончится. Но зачем-то она дала ему свой телефон, он зачем-то позвонил...

Ее муж уехал на заработки в Россию. Михаил предложил ей смотаться в Крым на недельку. Когда? Да хоть сегодня. Деньги есть, его «жигуленок» ждет за углом. Трасса была свободна, добрались за семь часов.

«Мой муж – интеллеktуал. Но он мальчик, безнадежный мальчик. Ты тоже башковитый, но ты – мужик», – говорила Оля, заводя руки за спину, чтобы расстегнуть лифчик. Михаил гладил ее по загоревшей спине и улыбался. Им обоим нравилось участвовать в этом заговоре, наставлять рога «безнадежному мальчику-интеллектуалу». За три года супружества Оля изменяла мужу впервые, причем так откровенно, и испытывала особое удовольствие от новизны чувств.

В последний день, когда Оля спросила: «Мы ведь будем встречаться и после Крыма, правда?» – и в ее голосе прозвучали жалостливые нотки, Михаил ответил: «Да, конечно», – решив по приезду ее забыть.

...Эх, дела сердечные. Спелый миндаль, красное закатное солнце...

Утром они распили бутылку вина. Хохотали, потому что их маленькая авантюра удалась. Оля распушила волосы, и Михаил, заводя машину,

ненароком подумал, что сразу рвать отношения с Олей вовсе не обязательно.

Рулевое управление заклинило, когда «жигуленок» мчался по шоссе. Машина врезалась в дерево. Основной удар пришелся по переднему бамперу со стороны пассажира. Михаил отделался несколькими царапинами. Олю увезла «скорая». Она вышла из комы на третий день. Когда Михаил переступил порог палаты, забинтованная девушка с разбитым лицом велела ему убираться. К чертовой матери! Жалко, что калекой останется она. Лучше бы он.

Вернулся ее муж, мальчик-интеллектуал. И сразу потребовал денег. Потому что водитель «жигуленка» вел машину пьяным, имеются подтверждающие это документы. В случае отказа угрожал судом. Михаил продал свою квартиру. Муж взял деньги и потребовал еще...

Михаил – без квартиры, без машины, в долгах. А в ящике стола валялось разрешение на въезд в Америку, и срок его действия скоро истекал...

За неделю до отъезда в Нью-Йорк Михаил подкараулил мужа Оли у подъезда. Бросил его на землю и швырнул ему в лицо скомканный доллар. Сорвал накипевшее зло и отомстил этому торговцу несчастьем.

Оля уже была дома. Она ходила. Пока на костылях, но врачи обнадеживали.

– Завтра иду в Бруклинский суд.

– В Бьюклинский суд? Что, уже вызывают? – мрачно пошутил дядя Гриша.

Он сидел напротив Михаила в расстегнутой рубашке, изредка почесывая грудь. Морщинок на его лице – тьма. Непонятно, откуда у этого маленького человека берутся силы вкалывать по десять часов в день, обустривать дом дочки в Нью-Джерси и удовлетворять во всех отношениях необъятную Еву. Железный.

– Сейчас новые правила. Вэлфер нужно отрабатывать, – пояснил Михаил.

– А ты закоси. Скажи им, что страдаешь хроническими мигренями. Чуть что – пойдешь к врачу, заплатишь ему сто долларов, он тебе выпишет любую справку.

– Здесь такое проходит?

– Почему нет? Это же Амейика, свободная страна... Ну что, племяш, давай еще по рюмочке. Завтра Йом-Кипур. Весь Нью-Йорк – выходной. На улицах не увидишь ни души, все – в синагогах, – сказал дядя Гриша, любивший преувеличения.

Выпили. Закусили.

– Ты ешь, Михась, бо завтра будем голодать. До звезды.

...Йом-Кипур для Михаила был связан с

дедом. С дедом Самуилом, который погиб в лагере. За что его посадили? Кто знает? В справке о реабилитации сказано: «Постановлением Тройки УНКВД от 9 декабря 1938 г. Чужин С. С. осужден на 10 лет лишения свободы за антисоветскую агитацию». Непонятно, зачем деда отвезли из Биробиджана в Кемерово? Ведь и возле Хабаровска было полно зон. И против чего дед Самойло агитировал?

Он приехал вместе с семьей из Бершади на Дальний Восток. Семейное предание хранит историю о каком-то родном брате деда Самуила – тот якобы уехал в Америку после революции, стал там фермером. Писал на родину письма, звал к себе. Но дед Самуил был помоложе и понаивней. Как всякий образованный человек, он слишком серьезно относился к идеям. Поверил, что сможет стать фермером в биробиджанском колхозе.

В итоге – батрачил на холодной земле Дальнего Востока, искал правду на колхозных собраниях. Родил еще одного сына. Попал в лагерь. Погиб.

– Ты знаешь, я пытался здесь разыскать наших дальних родственников, отправлял запросы, – рассказывал дядя Гриша. Он окосел как-то сразу, после второй рюмки, но остановился на определенной точке. Морщинки его разгладились, глаза заблестели. – Но Чужиных в Америке –

полмиллиона! Оказывается, Чужины могут быть и Чазанами, и Казанами, и Каганами. Очень древняя фамилия, библейская...

От деда Самуила не осталось ни единого фотоснимка. Только рисунок, который спустя годы нарисовал отец Михаила простым карандашом.

Дед сидел на стуле вполоборота. Ничего героического. Никакого величия. Ничего библейского. Угловатая фигура, угловатое лицо со впавшими щеками, съехавшая набок кепка. Отец запомнил деда таким. Таким, быть может, он сидел и на допросе. Таким, наверное, его видели в последний раз в бараке, перед тем, как всех эков-евреев этого барака повели убивать за отказ работать в Йом-Кипур. Их убили возле скалы, размозжив им головы кирками. Живых и мертвых сбросили в траншею и присыпали землей.

В соседней траншее лежали православные, убитые за отказ работать на Пасху.

Все эти подробности рассказал лагерник, вернувшийся в 1954-м в Бершадь из Кемеровской зоны.

Дед Самуил и Судный день для Михаила были связаны в единое целое. Потому что в этот день все мужчины в семье Чужиных постились в память об умерших и погибших, и дед Самуил в семейном мартирологе значился отдельно и чтился особо. Высоколобый идеалист. Мученик. С дедом

как-то соединялось несоединимое: теплое местечко на юге червонной Украины – и мерзлая земля Дальнего Востока; телега с развеселым балагулой – и вагоны с вохрой и зэками. Дед – это Пост. Стакан воды и баланда. Пение шофара – и лай овчарок. Дед – это лагерь и синагога. Дорога за счастливой долей. И дорога в зону. И на Тот свет. И с Того света...

Отец в Йом-Кипур постился тайно, никому не говорил об этом. Он не любил все эти «синагогальные шгучки», но в Судный день постом отдавал дань памяти ушедших. Дядя Гриша постился открыто, демонстративно, вплетая в Йом-Кипур и некоторый политический мотив. Для него еврей, идущий в синагогу, – это еврей, выступающий против советской власти.

А для Михаила Йом-Кипур – это страшный день. В кровавом закате. В столах на пепелище. В звоне последней трубы.

Он помнит, как дядя Гриша, приехав из Бершади в Киев к ним в гости, взял двенадцатилетнего племянника с собой в синагогу. В единственную тогда ветхую синагогу на Подоле.

...Талесы, ермолки, кивот со свитками. Гул, как в улье. Происходит что-то непонятное, все чего-то ждут.

А на улице стоят женщины и мужчины. Негромко переговариваются. Достают конверты.

Читают письма о какой-то Валечке, что устроилась клерком в тель-авивском банке, о каком-то Диме в Чикаго. Всех что-то объединяет. Полушепот. Акцент идиш. Страх. Кровь. Что-то сильнее, чем кровь.

Михаил слушал обрывки разговоров, снова возвращался в синагогу. Протискивался между пиджаками и талесами. Вот раввин развернул свиток, читает громко, и голос его дрожит: «Шма, Израэль!» И оживают, нарисованные на колоннах, львы и орлы. «Шма, Израэль!» – раввин кашляет, задыхается, читает из последних сил.

Михаэль снова выходил на улицу. Разговоры о какой-то звезде, о Книге, в которую страшный и грозный Бог сейчас впишет судьбу каждого еврея на грядущий год. И поставит Свою печать.

«Шма, Израэль!» – прокричал раввин, воздев руки над свитком. Затем поднес к губам позолоченный рог. Мертвая тишина. «У-у-у!...» – протрубил рог...

## 4

Показались два зеленых светящихся шара у входа в подземку. Через турникеты Михаил прошел более уверенно, чем в первый раз. Уже знал, что пули в метро не свистят.

Выйдя на улицу, долго спрашивал, как



попасть в Бруклинский суд. Спешащие прохожие улыбались, но пожимали плечами. Михаил не уставал повторять «волшебные» слова: sorry, please. Без толку.

– ...ь! – выругался он в сердцах.

Идущая мимо женщина остановилась:

– Какие-то проблемы? – спросила она по-русски. – А-а... Вам нужно проехать еще две остановки.

Через час он вошел в здание суда. Достал из кармана бумажку, где было указано, к кому он должен обратиться. Мистер Джек Уайт.

Наверное, мистер Уайт – важный судебный клерк, и Михаил должен будет ему помогать. Что ж, научится работать с деловыми бумагами, подтянет английский. Неплохо для начала. Сразу получил чистую работу. Босс уважает. «Мистер Майкл Тчужин?» – «Да, мистер Уайт». – «Бросайте работать. Время ленча».

...В подвале воняло хлоркой. Три негра, сидя на корточках возле урны, курили. Мистер Уайт, черный, как антрацит, вручил Михаилу швабру. Указал на пластиковую посудину на колесиках, с ручкой сбоку и валиками для отжимания воды. Мистер Уайт с плохо скрываемым наслаждением в голосе произнес: «Сэр, ваши туалеты – на первом этаже. За два часа сегодняшнего опоздания с вас вычтут десять долларов». Негры умолкли, с

любопытством смотрели, как поведет себя этот белый.

Михаил глуповато улыбнулся. В армии салагу отправляли мыть парашу в первую же ночь, а за отказ избивали. Главное было – сразу не сломаться. Пусть бьют – говори «нет». А здесь – не Советская армия. Здесь – Бруклинский суд. Все вежливо. Без рукоприкладства. Светлую сторону при желании можно найти во всем.

– Sorry, – Михаил отдал швабру, развернулся и ушел.

Судя по всему, вэлфер ему теперь не дадут.

В сквере он сел на скамейку, закурил. Чего же он хотел? Приехал в Америку – без полезной специальности, без денег, с плохим английским. И сразу все получить? Слава Богу, есть дядя Гриша, который согласился устроить в бригаду маляров. Хорошо, что отец когда-то научил малярничать. Он здоров, молод, полон сил. Не ной! И забудь. Забудь про дачи, про костерки, про туманы над старым Днепром...

Михаил выпустил пару дымных колечек. Сигареты, кстати, стоят дорого, курить придется поменьше. И квартиру нужно найти поскромнее. От покупки машины тоже придется отказаться. Аскетизм. Воздержание. Готовься, Михась, проливать трудовой пот. Он хмыкнул. Обозленный и в то же время жалкий зашагал к метро.

Вскоре он снял крохотную квартирку на первом этаже ветхого двухэтажного дома. В коридоре в бойлерной гудел мотор, оттуда крепко тянуло мазутом. В комнате по стенам ползла плесень, линолеум на полу был разорван.

Мебель подбирал на улице. Вечером брел вдоль тротуаров, где рядом с мусорными мешками валялись разбитые стулья и диваны. Нашел почти новый матрас. Втащил матрас в квартиру, бросил на пол и прикрыл шерстяным одеялом. Завтра его ждал первый рабочий день в бригаде маляров.

Лежал и курил. Раскаивался в том, что приехал в Америку. Обвинял Олю, ее мужа, всех. Плакал. И презирал себя за эти слезы.

## Глава четвертая

### 1

Свечка догорала, голубой шарик скатился по фитилю и погас. Алексей обмакнул палец в расплавленный воск, посмотрел, как медленно застывает теплая матовая пленка. Алексей еще ясно не видел Героя своего романа. Лишь один раз, когда дописывал последнюю строку, почудилось, что рядом промелькнул какой-то парень, вернее,

чья-то тень оторвалась от одной стены и вошла в другую. И в этот миг сквозь сердце Алексея прошла крепкая цыганская игла. Боль уже была не сладкой, как в прошлый раз, а, напротив, саднящей и острой.

Н-да, этот Михаил – сильный. У него хватает мужества презирать собственные слезы. Алексей же своими слезами дорожил.

Первое время по приезду в Нью-Йорк Алексей тоже не шибко веселился. Пил водку и не пьянел. А когда нервы не выдерживали, выходил из дома и шел к Гудзону. Благо, быстрым шагом до реки можно было добраться за полчаса.

Яркие звезды горели над беспокойной водой. Волны разбивались о мшистые валуны, в лунном свете возникали белые пятна пены. Шум, плеск волн, далекий гул возвращали сиюминутное вечному, напоминали о других берегах, не утраченных навеки, а иных – которые будут когда-то обретенны...

В единственную тогда в Нью-Йорке русскую газету Алексея не взяли. Ничего другого, кроме как писать статьи, он делать не умел. Пробовал устроиться консьержем или швейцаром. Нигде не брали. То ли неубедительно врал, что имеет опыт такой работы, то ли по незнанию претендовал на прибыльные места швейцаров, куда простых смертных, с улицы, не берут. А не брали, наверное, еще и потому, что Алексей сам не хотел ни таскать

чемоданы туристам, ни открывать двери, произнося холуйское «please». Даже за пристойную зарплату и хорошие чаевые. Негибкий он человек, Алексей. Не американец.

Его жена быстро поняла, что к чему. Она не мучилась роковыми вопросами. Сразу пошла в бюро по трудоустройству, заплатила, и ей дали адрес богатой еврейки. В первый же день получила за уборку дома пятьдесят долларов.

...А русский Нью-Йорк тем временем быстро разрастался, приезжали тысячи русскоязычных иммигрантов. Открывались новые магазины, мастерские, рестораны.

Появилась новая русская газета, в которую Алексея, слава Богу, взяли. Напротив редакции стоял высокий католический собор. Бил колокол, созывая прихожан на утреннюю мессу. Густой колокольный гул долетал и до окон редакции, проникал в душную комнату, где сидели трое журналистов, у которых не было сил ни надеяться, ни любить, ни верить в Бога. Они были обязаны безостановочно писать, заполняя газетную бумагу необходимым набором слов. В конце недели появлялся босс и вместе с излюбленной шуткой «Вы еще не уволены» выдавал каждому журналисту мизерный чек.

Вечером снова с колокольни плыл звон, в храме начиналась вечерняя служба. Закрывались

банки, магазины, пиццерии. А в прокуренной редакционной конуре все еще сидели три журналиста, обезумевшие от бесконечного писания. У них уже не было сил чувствовать собственную боль. И лишь когда поздно вечером они возвращались домой, они могли позволить себе задуматься.

Каждую пятницу Алексей выпивал дома стакан водки и валился на диван. Жена, вернувшись с работы, еще смотрела телевизор, «мыльные оперы» ей помогали учить английский, а заодно и вникать в тонкости американской жизни. Она обладала уникальной пластичностью психики, схватывала на лету нюансы и обертоны американского характера, манеру поведения: эти мимолетные, но ядовитые шуточки, якобы невинные ужимочки, безошибочные хватательные рефлексы. Ей удавалось вполне естественно изображать восторг, удивление, сочувствие – при полнейшем безразличии к происходящему. Словом, она уходила в Америку, в американский Нью-Йорк, в то время как Алексей безнадежно хирел в русском гетто Бруклина.

В субботу, свой единственный в неделю выходной, он спал. Не было ни сил, ни желания даже разговаривать с женой, слушать, какие скидки на покупку одежды дают работникам магазина «Мэйсис», куда она недавно устроилась

продавщицей.

Зачем он ей был нужен в Нью-Йорке? С жалобами и стонами. С больными старыми родителями. С нищенской зарплатой, которой едва хватало на оплату квартиры. Без перспектив. Да еще с этим бесконечным воем – «Хочу написать роман».

Утром, в воскресенье, он снова отправлялся в редакцию. Скрипел снег под подошвами сапог. Улицы были безлюдны, Нью-Йорк еще спал. И жена еще обворожительно лежала под одеялом, досадуя на такое недолгое блаженство утренней поспешной любви...

Алексей замедлял шаги. Он знал, что у него остается лишь маленький отрезок заснеженной дороги – от дома к метро, мимо старого еврейского кладбища. И за эти десять минут он должен успеть продумать и прочувствовать многое.

Шапки снега лежали на черных гранитных кубках скорби. Цветы на еврейское кладбище приносить запрещается. Об этом сообщали таблички, написанные специально на русском языке – вдоль высокой ограды уже потянулись свежие могилы русских евреев. Несмотря на запрет, цветы все же приносили. Раз в неделю бригада веселых поляков убирала кладбище – сгребали цветы в кучу, грузили на трактор и вывозили их за ограду.

Алексей проходил мимо, стараясь не

наступать на оброненные сломанные розы. Видеть эту уборку было больно. Но он старался не растрчивать боль, потому что хотел ВСЮ свою боль, без остатка, отдать Герою своего будущего романа, а времени оставалось лишь пару минут – уже виднелись зеленые шары подземки.

Однажды в пятницу, поздно вечером, он выпил водки, чтобы быстрее заснуть, лег на диван и, закрыв глаза, не увидел ничего, кроме густого мрака. Он открыл глаза, но мрак не рассеялся, хотя в комнате горела настольная лампа, и работал телевизор. Он уткнулся лицом в подушку и долго плакал, а жена сидела рядом и не знала, чем ему помочь. Ей самой было тошно.

...А ночью пошел снег. Мело, мело по всему Нью-Йорку. Пушистые хлопья ложились на асфальт, на крыши домов, на ветки елок. Снег покрывал пеленой старое кладбище, бейсбольную площадку, рельсы метро. Под снегом скрывались автомобили, вагоны в депо, взлетные полосы в аэропортах... Утром на работу никто не пошел. Люди расчищали дорожки у домов, откапывали автомобили. Вертолеты разыскивали пропавших на шоссе. А ночью снова сыпал снег...

Все эти три дня Алексей читал, а ночью смотрел в окно. Напротив, на крыше соседнего дома, чернела труба, из которой струился дым. И казалось, что рай – он такой же: снег, пушистые



елки, дым из каминной трубы...

Потом открылась еще одна высокопрофессиональная русская газета, где требовался репортер. Алексея взяли с испытательным сроком. Его первые репортажи с места аварии водопровода и с пожара на текстильной фабрике понравились. Но этого было недостаточно.

## 2

Убили русского боксера, мастера международного класса Александра К. На рассвете в квартире на Брайтоне прогремело три выстрела. Киллеры – их было двое – сбежали по лестнице дома, вскочили в машину и скрылись. Об этом сообщили утром в теленовостях.

Алексей был в похоронном доме, оттуда гроб с телом убитого боксера увезли на кладбище. Алексей попытался провести собственное журналистское расследование, по крохам собирал все, что так или иначе относилось к трагедии. Спортсмены и тренеры – все, кто близко знал погибшего и догадывался о причинах убийства, умолкали, как только Алексей включал диктофон. Боялись.

Складывалась такая картина: русский боксер приехал в Нью-Йорк на соревнования и здесь

остался. Мечтал пробиться в большой спорт. Через год к нему из России приехала жена с годовалым ребенком. Отметили день рождения сына. Вечером он ушел на работу и не вернулся. За что убили? Кто? Неизвестно.

«...У Томаса было агрессивное, тренированное тело, но лицо оставалось таким же чистым, мальчишеским...» Эта строка из романа Ирвинга Шоу почему-то вертелась в голове, когда Алексей ходил по спортивным клубам и русским кабакам, расспрашивая об этом убийстве. Когда-то в юности он несколько раз перечитывал роман «Богач, бедняк», больше других героев Алексей, – наверное, как и сам Шоу, – любил Томаса. Сильный характер, прямой, благородный, он начал свою жизнь уличным хулиганом, стал боксером и погиб как герой, спасая от мафии жену-алкоголичку. В романе, однако, все было трагично, но и красиво – ринг в «Мэдисон-гарден», яхты, роскошные отели.

Здесь же правда была в самом убогом виде. Талантливый русский боксер грузил овощи всего лишь за два доллара в час, жил в подвале, затем стал вышибалой в русском кабаке, а потом – телохранителем хозяина того кабака.

В него всадили три пули. Две – в грудь, третью – в голову. Третий выстрел, контрольный, был главным – предупреждение хозяину кабака, что если он не заплатит кому нужно, то следующей

жертвой станет он.

Все это Алексею рассказала жена убитого спортсмена – милостивая блондинка, Алексей разыскал ее в трущобе на Брайтоне. Вдова говорила полушепотом, потому что рядом, на одеяле, расстеленном на полу, спал ребенок. Она уже не плакала, в ней угадывалась волевая натура. Лишь один раз ей на глаза выступили слезы, когда она делилась недавними надеждами на будущее в Америке: «Думали, Саша пробьется в спорте, я – в медицине, родим второго ребенка...»

Еще она попросила не упоминать в статье ни названия того кабака, ни имени хозяина. Да, она все понимает, но хозяин дал деньги на похороны, купил ей и ребенку медстраховку, обещает оплатить памятник. Она показала рекламные буклеты памятников: «В Нью-Йорке, оказывается, памятник можно устанавливать через месяц после похорон».

Алексей кусал губы. Почему она так быстро согласилась благодарить того, кто должен был лежать в земле вместо ее мужа?!

Он зашел в тот кабак. Доложили боссу, что пришел какой-то русский журналист. Их короткий разговор проходил в закрытой комнате. Хозяин кабака предложил деньги, а после того, как Алексей отказался, сказал: «Напишешь в своей сраной газете лишнее слово – ляжешь рядом с Алексом, на том же кладбище, понял?»

Статья все же вышла. Получилось весьма проникновенно, со слезой, но туманно. Если бы Алексей решился добавить одну лишь подробность – назвать кабак и имя босса, чьим телохранителем был убитый, – многое стало бы ясно.

Через пару дней в редакцию позвонила вдова убитого, сказала, что какая-то женщина привезла ей детскую одежду и игрушки. Отдала и уехала, даже не назвав своего имени. «Представляете, я четыре раза спускалась к машине за вещами. Почти все новое и аккуратно упаковано, – звенел голос на том конце провода. – Незнакомый человек – и вдруг... Не думала, что в Америке такое бывает...»

Алексей молчал. Он знал, кто была эта великодушная незнакомка, – вдова другого русского боксера, убитого на Брайтоне год назад.

Это убийство, кстати, подтверждало догадки властей о происходящих изменениях в русском Нью-Йорке. В Департаменте нью-йоркской полиции и в ФБР уже создавались специальные отделы по борьбе с русской организованной преступностью.

\* \* \*

Потом еще не раз Алексей проводил журналистские расследования. Порою выдавались недели, наполненные событиями, а порою –

относительно спокойные.

Потом от него ушла жена. Им даже не нужно было разводиться, так как их брак в нью-йоркском Сити-холле не был зарегистрирован. Просто отныне они должны будут заполнять отдельно свои налоговые декларации. Всех-то дел. Об этих тонкостях жена заблаговременно узнала у адвоката.

Алексей слушал эту юридическую ерунду и думал о том, как далеко она зашла в своей мнимой американизации: советуется с адвокатом, который взял с нее за консультацию, наверное, долларов триста. Неужели зря прожили вместе пять лет?... Мелькнула моторная лодка, распущенные волосы на ветру. Все это умерло. А может, никогда и ничего и не было. Было, есть и будет – промозглый ветер за окном, мусорные мешки на тротуаре. Старые родители. И неизбывная боль писательства.

В общем-то, никто не виноват. Нужно было бороться с нуждой, свыкаться с новой жизнью, учиться, вкалывать. Жалеть друг друга не хватало сил. Они оба поняли, что выползать, выкарабкиваться им будет легче поодиночке.

Они встретились случайно два года спустя. В автобусе. Алексею показалось, что она подурнела. Он даже заметил морщинки у ее глаз. Боже, неужели он мог когда-то любить эту женщину? Этот манекен из витрины магазина «Мэйсис»?! В ее глазах он, правда, тоже был не Львом Толстым –

все тот же репортер русской газетки, с нищенской зарплатой и плохим английским.

## Глава пятая

### 1

Аллея Центрального парка. Под высоким кленом сидит художник. Смуглолицый армянин. Высохший, в морщинах. Жесткая, в пол-лица борода.

– Здравствуй, Акоп.

– Здравствуй, Алексей-джан.

Перед Акопом этюдник. Кисточка окунается в черную краску, ударяет по белому листу. Потом идет плавно, плавноенько. Появляются чьи-то глубокие глаза, горбатый нос, высокий мученический лоб. Алексей улавливает свое отдаленное сходство с этим, эскизным.

Акоп – гордец, презирает всех уличных художников. Он – гений, а они – ремесленники. Но, увы, ему тоже приходится подхалтуривать портретами на улице. В глазах его – что-то жаркое, черное. Алексею порой кажется, что Акоп когда-нибудь напишет картину «своей жизни» в духе Эль Греко и сойдет с ума.

– Не сойду, Алексей-джан. Дочки не позволят. Как твои дела?

– Нормально.

Алексей посмотрел вглубь вечерней аллеи. Несколько художников еще сидели там возле своих этюдников, рассчитывая на последний заказ от прохожих.

– Лизы сегодня в аллее не было, – сказал Акоп, не поворачивая головы. – Вчера она такой портрет написала... вах! Вокруг собралась толпа, аплодировали ей.

Алексей вздохнул.

– Я скажу Лизе, что ты приходил. Скажу, что ты хотел ей па-а-зировать, – Акоп поднял кисточку вверх и рассмеялся.

\* \* \*

С Лизой он познакомился прошлой осенью здесь же, в аллее Центрального парка.

В редакцию тогда позвонил Акоп:

– Полиция всех арестовывает! Приезжай!

Алексей подоспел к самой развязке – полиция сажала художников в полицейский автобус. Некоторые были в наручниках. За заградительными перегородками мигом собралась толпа. Вечно спешащие, чрезвычайно занятые жители Нью-Йорка обычно имеют уйму свободного времени – случись на улице что занимательное, они готовы часами стоять и комментировать.

Акоп шел без наручников, в сопровождении полицейского. Упрашивал, чтобы его отпустили, от волнения смешивая английские слова с армянскими. Увидел Алексея.

– Алексей-джан, скажи им, что я не знал о новом указе.

Полицейский равнодушно выслушал этого незваного заступника с удостоверением репортера русской газеты.

По опыту Алексей знал, что на журналистов нью-йоркская полиция смотрит, как на мух: не церемонясь, могут вытолкнуть за ограждения, отобрать «корочки» и даже проехаться дубинкой по спине. Правда, крайние выходки в отношении журналистов полицейские себе позволяют лишь в экстремальных ситуациях, скажем, в случае беспорядков на параде или во время облав.

Алексей упрашивал отпустить Акопа. Упомянул, что про этого художника не раз писали городские таблоиды, его фотографию поместили даже в ежегодном цветном альбоме «New Yorkers», на одном развороте с мэром. Полицейский нахмурился – упоминание про мэра зародило у него некоторое сомнение. Но в автобус завели стоящего перед ними парня в наручниках и, дабы не создавать «затор», полицейский отрезал «по» и подтолкнул Акопа в спину. Вскоре автобус покатило в полицейский участок. Толпа зевак быстро



растворилась.

...Возле забора стояла высокая черноволосая женщина лет тридцати пяти. В синем длинном платье. Вид у нее был жалкий.

– Не думала, что в Нью-Йорке такое возможно, – сказала она. – Пришла сюда сегодня в первый раз. А тут такое... Хорошо еще, что меня тоже не арестовали. Вовремя отошла в сторону и меня приняли за прохожую, – она подняла с асфальта сумку, из которой выглядывал рулон белой бумаги. – Ты не знаешь, почему их арестовали?

– Если я правильно понял, вышел новый указ. Теперь, чтобы рисовать на улице портреты, нужно покупать специальное разрешение. Художники посчитали, что платить не обязательно. И ошиблись. В Америке такие шутки не проходят.

– Их оштрафуют и отпустят?

– Кого-то отпустят сразу. А тех, у кого проблемы с документами и просрочены визы, наверное, подержат подольше... Меня зовут Алексей.

– Лиза.

– Ты давно живешь в Нью-Йорке?

– Год.

– Ты откуда родом?

– Из Киева.

Он посмотрел ей в лицо. Большие карие глаза,

сухие губы. Поцеловать бы...

– Помнишь Сэлинджера «Над пропастью во ржи»? В том романе парнишка терроризировал окружающих дурацким вопросом: «Улетают ли на зиму утки из Центрального парка?» Эти утки – рядом, минут десять ходьбы отсюда.

Она усмехнулась, отдала ему сумку.

– Пошли.

Они стояли на берегу озера, кормили уток и селезней. Лиза их назвала «утками Сэлинджера». Потом смотрели, как мальчишки играют в бейсбол на зеленом поле. Лиза призналась, что, сколько ни пыталась, не может понять правил этой игры. Зато заметила, что бейсбол уродует мужские фигуры. Нашли несколько грибов.

...Шуршали листья под ногами. Алексею казалось, что он с Лизой уже когда-то давно, лет сто назад, гулял по осеннему лесу, где тоже крикали утки на озерах, пахло сосновой смолой и грибами. И не было ни иммиграции, ни Нью-Йорка. Не болели родители, не уходила жена. Все это – бред, чепуха...

## 2

Они часто встречались в аллее этого парка, потом гуляли по городу. Лиза мало рассказывала о себе. Окончила Институт легкой промышленности,

но вскоре поняла, что работа технолога – не для нее. Затем работала в Музее русского искусства, готовила экспозиции. Что потом? – «Ничего интересного...» А год назад встретила одного мужчину, бывшего киевлянина, приехавшего в гости в Киев из Нью-Йорка. Он предложил ей выйти за него замуж и уехать с ним в Америку. Она согласилась. Он – менеджер в одной солидной фирме...

Поначалу для Алексея многое оставалось непонятным в этой женщине. Скажем, ее нарочито грубоватая манера одеваться: простые длинные платья, обычные ветровки. Волосы, густые и черные, Лиза стягивала жгутом или связывала «бабушачьим» узлом и лишь изредка распускала.

Но в ее самоогрублении чувствовалась какая-то вымученность, искусственность. Алексей догадывался – в душе ее что-то надломлено, и она продолжает гнуть и доламывать себя. Порою она забывалась и, увлекшись своим рассказом, могла вдруг протанцевать и застыть в грациозной позе. И тогда ее тело вдруг обретало свободную волнующую плавность.

Вскоре Алексей уже был уверен в том, что своего мужа она не любит. Кто спорит? – ее муж – порядочный человек, работает с утра до вечера в солидной фирме, делает карьеру. У него свой дом, машина. Денег для Лизы не жалеет, в азартные

игры не играет, в стриптиз-клубы для джентльменов не ходит. Словом, о такой американской партии можно было только мечтать...

Все это Лиза повторяла не раз. Но, перечислив все достоинства своего чудесного мужа, умолкала и грустно улыбалась.

...А под Рождество Нью-Йорк, заснеженный и холодный, затопили огни. Ветер гнал поземку по асфальту, с синеватых пушистых елок осыпался снег. Все куда-то спешили, и румянец играл на щеках, и хрустели плотной бумагой пакеты с подарками.

Лиза впервые вошла к Алексею в дом, раскрасневшаяся от мороза. Когда он помогал ей снять пальто, слегка наклонила голову и как-то странно взглянула на него из-под длинных ресниц. Алексей ощутил томительную дрожь в кончиках пальцев, и холодная волна прокатилась по его животу.

Лиза прошла в комнату. Остановилась у стены, где висел его портрет.

– Это рисовал Акоп, правда?

– Да.

– Мне не нравится, как он пишет портреты.

Вычурно, манерно.

– А как нужно?

– Нужно просто.

Она обернулась к нему. Одним движением сняла с себя платье. Осталась в белой шелковой рубашке с глубоким вырезом. И в ложбинке между грудей поблескивал крестик.

...Ночью он проснулся и обнял рукой холодную пустоту.

Лиза сидела в кухне, набросив на плечи шерстяной плед. Увидев его, отвернулась. Алексей приблизился к ней, хотел обнять. Поднял было руки.

– Не надо, – она отпрянула от него, как от чужого.

– Что случилось? – спросил он неестественно спокойно, закурил и сел напротив.

За окном завывал ветер. Сквозь щель в металлической раме пробивалась струйка морозного воздуха.

– Я не должна была к тебе приходить.

– Почему?

– Это никому не нужно.

Он сделал еще одну затяжку, прежде чем спросить о главном.

– Я тебя не люблю, – сказала она тихо.

Губы ее, сухие и жесткие. Бесчувственные. Холодные. Поцеловать бы...

– Ладно. Идем спать, – встала и, кутаясь в плед, пошла в комнату.

А он еще долго сидел один. Курил. Слушал

вьюгу.

Утром она ушла.

Потом Алексей не раз поджидал ее у дома, но так и не встретил. Звонил ей домой, но чей-то мужской голос неприятливо отвечал, что Лизы дома нет, и когда вернется – неизвестно. Разыскивал ее в залах Метрополитен музея. Надоедал расспросами Акопу.

Зимою аллея художников в Центральном парке пуста. Холодно. Художники перебиваются редкими заказами, кто-то пытается создать вечное, кто-то занимает деньги, поглядывая то на календарь, то в окно, где виднеется лишь клочок хмурого неба.

Но Алексей был уверен: если Лиза не уехала из Нью-Йорка, рано или поздно он ее найдет. Нью-Йорк – самая большая в мире деревня. Тем более русский Нью-Йорк. Кто-нибудь – случайный русский таксист, или парикмахер, или журналист – упомянет имя приятеля или клиента, напишет статью, пожалуется на босса, который обязательно окажется твоим знакомым, а то и родственником.

...Она стояла за стойкой в баре «Голливуд». В зале висел смрад от дешевых сигарет. Музыкальный автомат сверкал лампочками.

Лиза в ядовито-красной блузке с глубоким вырезом варила кофе.

Сердце Алексея возликовало.

– Как ты меня нашел? – спросила она.

– Мне знакомая официантка сказала, она работает в похожем итальянском баре на соседней улице.

Лиза почему-то смутилась. Алексей смотрел на нее, не зная, что сказать: свисающие локоны, стрелки у глаз, яркая помада на губах. И за всей этой пошловатой бутафорией он вдруг увидел другую Лизу – ночью сидевшую у него в кухне.

– Лыза, водку и кофе-эспрессо! – гаркнул какой-то мужик.

– Алеша, мне нужно идти. Подожди меня, моя смена скоро заканчивается, – попросила она.

Через полчаса она вышла из бара, села в его машину. Достав салфетку, стерла с губ помаду. Брезгливо поморщилась и выбросила салфетку в окно.

– Утомили они меня сегодня. Извини, Алеша. Так было нужно.

– Кому?

– Мне.

Он завел двигатель. Вспомнил, что дома осталось полбутылки вина.

– Я к тебе не поеду, – сказала она твердо. – Отвези меня домой.

Она ушла от мужа. Снимает квартиру-«голубятню». Пока зима, устроилась

официанткой в баре. Все это она рассказывала, пока ехали.

– Эти итальянцы – деревенщина из Сицилии, но ведут себя, как настоящие пажоны. Когда играют в карты, подзывают меня, чтобы я снимала с колоды, и за это платят «сеньорите» по десять баксов.

Машина остановилась около ее дома.

– Все, спасибо, я побежала, – Лиза взяла сумочку.

– Хочешь, я одолжу тебе денег? Вернешь, когда сможешь, – предложил он.

Она на миг нахмурилась. Посмотрела на него с любопытством, даже ласково:

– Нет, Алеша. Я постараюсь справиться сама. И, пожалуйста, не приходи больше в ту забегаловку. Не хочу, чтобы ты меня видел там.

– А где? Когда?

– Попозже. Мне нужно какое-то время побыть одной.

## Глава шестая

### 1

Поднявшись по лестнице, Лиза вошла в свою квартиру. Из-за низких скошенных потолков там постоянно приходилось пригибаться, чтобы не



ушибить голову. В руках держала конверт. По почерку сразу узнала, от кого письмо. Она небрежно бросила сумочку на кровать и, не снимая плаща, распечатала конверт.

Писала инокиня Мария.

«...Будь здорова и Богом хранима. Может, тебе удастся приехать к нам в монастырь хоть на пару дней? Познакомишься с сестрами, помолишься, отведешь душу. От Нью-Йорка к нам – если рейсовым автобусом – четыре часа езды. Иногда в Нью-Йорк по делам ездит на машине наш настоятель о. Лавр. Он смог бы тебя привезти, только назад тебе придется добираться самой.

Вот, пожалуй, и все, моя дорогая. Помогай тебе Господь.

Твоя во Х. I., недостойная монахиня Мария».

Лампочка горела ярко, тени исчезли с Лизиного лица. Она подошла к иконе и перекрестилась.

С инокиней Марией она познакомилась в самолете, когда летела из Киева в Нью-Йорк – их места оказались рядом. Разговорились, в аэропорту расстались, обменявшись американскими адресами. Пожалуй, все.

В духовной жизни, однако, случайностей не бывает.

...Когда-то, лет тридцать назад, в спальне ее киевской квартиры стоял диван, массивный, с потертой обшивкой. На нем спала бабушка. Диван был достаточно широк, чтобы раскладывать на нем всех кукол или прятаться «в пещере» из одеял.

Из угла над диваном на нее смотрело... чудо, которое именовалось, как и подобает чуду, – Архангел Михаил. На раскрашенной доске был изображен юноша в огненном плаще поверх стальных доспехов. Мощные распростертые за его спиной крылья трепетали. Его взор был суров, и Лиза, хохотушка, когда обращалась к «ахаглену», тоже становилась серьезной, насколько ей это удавалось. Важно нахмутив бровки, говорила: «Я взяла две конфеты из коробки. Хотела съесть только одну, а вторую положить назад. Но съела две. И никому не сказала. Ты тоже никому не говори, ладно?» Архангел все ей прощал и, пообещав хранить тайну, тонул в небесной лазури. А Лиза набрасывала на голову плед и тихонько пробиралась на кухню – пугать бабушку.

Бабушка Ира, щупленькая, седая, стояла у плиты. Лиза помнит бабушкин передник, пропахший жареным луком и пирогами. В этот передник Лиза уткнулась лицом и разрыдалась, когда впервые услышала во дворе, что она –

жидовка. Камни полетели ей в спину. «Бабушка, а можно, чтобы вы все – мама, папа, ты – были жидами, а я – русской или украинкой?» – спросила она дрожащим голосом. Бабушка погладила ее по голове и сказала: «Нет, Лизочка». О-о горе!...

Однажды они вдвоем – Лиза и бабушка – подняли пьяного. Мужик в разорванном пальто валялся под забором. Прохожие его словно не замечали, а бабушка подошла и стала поднимать. Лиза стояла за ее спиной, не понимая, почему все мужчины проходят мимо, а маленькая бабушка Ира пытается усадить на скамейку этого пьяного медведя. «Он такой страшный», – потом призналась Лиза. «Да. Но он мог замерзнуть», – ответила бабушка.

\* \* \*

Икона «Архангел Михаил» в бабушкиной спальне – это память о священнике Алексее Глаголеве. Во время войны отец Алексей спасал евреев. Тех, кого не расстреляли в Бабьем Яру.

29 сентября 1941 года бабушка не выполнила приказ немцев и не пошла к еврейскому кладбищу, откуда всех собравшихся повели в Бабий Яр. Понимала, чем грозит «эвакуация в безопасное место на юг» – фашисты обещали именно это. Ее отца уже расстреляли несколько дней назад –

вывели из синагоги к Днепру вместе с другими молящимися (был канун Йом-Кипура), а на следующее утро к берегу прибило мешочки с молитвенными принадлежностями.

До казни в Бабьем Яру оставалось три дня. Дворники уже ходили в гестапо со списками жильцов-евреев. По дорогам разъезжал грузовик, и семь раввинов в кузове под дулами автоматов плясали «Фрейлехс».

Тогда еще двадцатилетняя, бабушка Ира (для Лизы она всегда – бабушка) постучала в соседский дом, где жила семья священника Глаголева. Отец Алексей впустил девушку. Гладил по голове, выпростав ладонь из темного рукава ряски, и конфузливо бормотал: «Тяжкое, тяжкое время, что говорить. Пришли испытания, большие испытания...» Он выписал ей поддельное свидетельство о крещении, а его жена отдала девушке свой паспорт, только фотографию переклеили. Так и жила с ними «дальняя родственница» Ирина, правда, на улицу почти не выходила – могли донести.

...По Киеву разъезжал «черный ворон». Евреи прятались в погребах, подвалах и выгребных ямах. В Бабьем Яру строчили пулеметы. Тяжкие, тяжкие времена...

Священник Алексей Глаголев шел в гестапо, где сидели новые арестованные. Под угрозой

расстрела свидетельствовал, что все они – Минкины, Гермайзе, Дашкевичи – русские, крещеные. Дважды его избивали, а его жену арестовывали. Он прятал евреев в Покровском женском монастыре, оформив их певчими.

Лизе исполнилось семнадцать лет, когда она однажды раскрыла «самиздатовскую» книгу «Катастрофа». Там были собраны воспоминания, свидетельства очевидцев. Среди прочих там был помещен и рассказ ее бабушки о последних днях перед освобождением Киева. «Нас, укрывающихся евреек и монахинь из Покровского монастыря, погнали в концлагерь, а оттуда повезли в Германию. Наш поезд попал под бомбежку, мы чудом спаслись. Когда вернулись в Киев, то узнали, что семья отца Алексея в Киеве, но он тяжело хворает. За нежелание выехать из города немцы его жестоко избили и бросили на улице с сотрясением мозга...»

В церковь Покровского женского монастыря Лиза впервые вошла с бабушкой. Обомлела, увидев столько «ахагленов», огненных и золотых. Бабушка о чем-то разговаривала со священником – отцом Алексеем, седым, с палочкой. А Лиза, раскрыв рот, рассматривала голубой купол и все вокруг. «Нравится тебе здесь?» – спросил священник. Лизе захотелось крикнуть: «Да!», но она по-взрослому

сжала губы и молча кивнула.

Дома потом играла «в монастырь»: закутывалась с головой в темный плед так, что оставалась лишь узкая щелочка для глаз, носа и рта. Подходила к иконе и, помахав перед собою рукой – изобразив нечто, вроде крестного знамения, обстоятельно рассказывала архангелу о незаконно съеденных конфетах, рассыпанных бусах и маминой губной помаде – ею можно было вначале накрасить губы, а потом разрисовать зеркало. Очень хорошая помада. Красная.

## 2

...Бабушка умерла, когда Лизе исполнилось тринадцать лет. Она хорошо помнит тот вечер. Был март, на диво теплый, от снежных баб уже оставались бесформенные кучи. Лиза гуляла во дворе. Спускался вечер. Подруги расходились по домам, а Лизу родители почему-то не звали. Ее охватила непонятная тревога, хотелось оставаться во дворе подольше, только бы не идти домой. Двор опустел, и Лиза вошла в подъезд. Она помнит перепуганное лицо мамы и подавленное – отца. Множество людей толпилось в их квартире...

Лиза не помнит, кто лежал в гробу, украшенном черными шелковыми лентами. Для Лизы тот гроб был пуст, хотя к нему подходили

родственники, соседи, незнакомые люди, клали цветы. Еще долго она будет казнить себя за то, что поехала тогда на кладбище в новой красивой демисезонной курточке, хотя нужно было надеть ненавистное старое пальто. Но родителям было не до Лизы, она набросила курточку, сбежала по лестнице и забилась в уголок автобуса.

Она помнит земляной холмик, на котором стоял гроб. Родственники и соседи произносили прощальные слова. Горсть земли, которую Лиза бросила на крышку, была холодной и вязкой. Лишь дома, ночью, когда она лежала одна в комнате, и зеркало в шкафу было завешено простыней, а диван пуст, Лиза поняла, что бабушка умерла.

### 3

Он вел семинары по философии в институте, где училась Лиза. Закончил аспирантуру МГУ, по своим знаниям и манерам он на голову превосходил киевских коллег. Стоики, платоники, его карие глаза... Пару раз они оставались наедине в пустой аудитории, пару раз вместе вышли из институтского корпуса.

Узнав, что Лиза интересуется живописью, он стал давать ей книги по искусствоведению. Когда они гуляли в сквере, он так интересно делился своими мыслями о тех книгах. Говорил тихо и

сдержанно, но от этой сдержанности Лизу охватывало сильное волнение. Она молча слушала, глядя себе под ноги. Пронзительные запахи осеннего сквера, и шелест, и шорохи пьянили, уносили куда-то в неведомую прекрасную даль, где нет ни тоски, ни печалей, а есть лишь двое – она и он... «Лиза, если ты не возражаешь... если ты не против... если...» «Да-да-да...»

А потом узнала, что он женат.

Сколько раз она давала себе слово оборвать эту связь! Отказывалась от свиданий. Он то уходил, то снова возобновлял отношения. Обещал оставить семью, только просил подождать. Лиза соглашалась. Уже понимала, что он ее обманывает, но не находила в себе сил уйти. Как они ни пытались это скрывать, но про их связь знали в институте и студенты, и преподаватели, что создавало дополнительные сложности для обоих. Так длилось больше года. И вдруг – беременность.

Аборт. Да, конечно. Она обещала пойти в больницу. Завтра. Через неделю. А по ночам уже разговаривала с «малышом». Призналась во всем маме. И решила ребенка сохранить. Возьмет академический отпуск. Вырастит ребенка сама. А в свидетельстве о рождении в графе «отец» – что ж? – пусть стоит прочерк.

Он как будто согласился, хотя вид при этом имел растерянный. Через несколько дней встретил



ее после занятий и пригласил в кафе. Сказал, что принял решение – уходит от жены. Они поженятся. Лиза родит ребенка, закончит институт. А его докторская диссертация – подождет. Голос его, глубокий и сдержанный, все так же волновал ее. Лиза боялась верить, что унижения, боль, слезы – все позади; теперь-то начинается настоящая жизнь – с мужем, ребенком, как у всех, только у нее будет гораздо лучше, счастливее...

Он привел ее в частную клинику к своему знакомому – хирургу, якобы проверить, нормально ли протекает беременность. Она что-то выпила, а потом целую вечность пролежала в полубреду. Ее раздели, что-то делали с ее безвольным, ватным телом. Привезли домой. Потом сильно тянуло в нижней части живота, началось кровотечение...

Ночью Лиза лежала и смотрела в потолок. Представила, как он завтра войдет в аудиторию, будто ни в чем ни бывало. Зазвенит звонок, студенты раскроют тетради. Жизнь будет идти своим чередом. Жизнь – это зло. Подлость. Предательство. Как можно жить в таком мире? Зачем?!

...Рано утром бледная, с затравленными глазами, она вошла в церковь. Там было безлюдно, лишь у алтаря стоял священник. Воздев руки горе, произносил слова о Божьей любви к людям. Лиза обвела храм глазами. Долго смотрела на старую

фреску на стене, где была изображена женщина в рваной накидке, босая, с растрепанными волосами. Лиза подошла к фреске и поцеловала ногу святой. Ей что-то открылось в тот миг, потому что она почувствовала себя крепкой и сильной, ночная мысль о лезвии показалась малодушием. Она опустилась на колени...

\* \* \*

Закончила институт. Устроилась, однако, не на швейную фабрику, а в Музей русского искусства. Писала – для начальства – рефераты, а для себя делала копии с оригиналов картин.

Внешне ее жизнь напоминала бесконечные и бессмысленные шараханья. Потери, ошибки, разочарования. Но были и приобретения. Лиза уже многое знала о себе. Знала, что не хочет быть технологом, а хочет заниматься живописью. Догадывалась, что она – человек яркий, по-своему бескомпромиссный, но слабохарактерный.

Она жила вдвоем с мамой, отец семью оставил. За ней ухаживали, предлагали замуж. Но Лиза отказывала.

Со своим «американским мужем» она познакомилась в автобусе. Он спросил, где находится детский магазин, чтобы купить игрушку племяннице. «Знаете, за восемь лет Киев так

изменился, не узнать». Разговорились. Он предложил встретиться еще. Он – интересный собеседник, эрудированный, галантный. Лиза им увлеклась, и он вскоре предложил ей выйти за него замуж и уехать в Америку. В Америку?...

Она долго раздумывала над этим предложением. В конце концов, что она теряла? Интересную работу? Роскошную квартиру? Семью? В Киеве у нее оставалась только мама. Но и маму потом можно будет вызвать в Штаты.

Ее нью-йоркский жених... Да, он не был ее идеалом. Но ведь живут же и без большой любви. Да и кто сказал, кто придумал, что на свете существует такая любовь?!

...В последний день перед отъездом она пришла на кладбище. Почти весь еврейский участок, где когда-то на могилах росли нежные цветы, теперь был покрыт бетоном – еще один печальный признак того, что евреи покинули страну.

Набухали почки березы. Когда хоронили бабушку, эта березка была еще совсем худенькой. А теперь... Длинные ветки колыхались на ветру. Весело чирикали воробьи. Черная раскисшая земля уже кое-где покрывалась тонкими редкими травинками.

Бабушкины глаза на овальной фотографии были размыты дождями и снегом. На плите лежала

опрокинутая стеклянная банка, в ней когда-то стояли цветы. Лиза протерла памятник влажной тряпкой, села на корточки, положила ладони на гладкий холодный гранит. Она была там одна, поэтому не боялась, что в ее словах проскользнет фальшь.

Бабушка. Бабушка. Прости за все зло, что я тебе причинила. Прости, что пошла на твои похороны в модной куртке. Прости, что не пришла домой в твои последние минуты. Прости, что иногда, когда мне очень плохо, взываю к тебе, нарушаю ТАМ твой вечный покой и твое ожидание...

Слезы, светлые, катились по ее щекам. Лиза вытирала их ладонями, и на лице оставались продолговатые черные полосы. Она не знала, уезжает ли в Америку навсегда или на время. Но почему-то так щемило в душе, так тревожно и жалобно, как никогда раньше, раскачивались над головой ветки березы...

## **Глава седьмая**

Болит сердце. Колет в груди. Во сне Алексей вдруг начинает задыхаться. Просыпается в испуге. Слышит близкое тиканье часов и какие-то далекие шумы. В последнее время он стал меньше пить кофе и меньше курить. Не помогло – болит. И

опять-таки – видения нехорошие. Химеры. Бессонница. Нужен врач.

Кажется, двадцать... да, двадцать лет назад он попал в больницу. Медкомиссия военкомата обнаружила у призывника Алексея какие-то сердечные неполадки – шумы, резкие перепады пульса, еще что-то. Его поместили на обследование в больницу.

Старенькая больница с обшарпанными стенами. Отвратительный запах лекарств, хлорки и не менее отвратительного горохового супа. Капельница почти у каждой кровати. Ему измеряли давление, делали кардиограммы. Апрель выдался теплым, и молодого пациента Алексея стали привлекать к работам в больничном саду. Он вскапывал землю на клумбах, белил стволы деревьев. Оставив лопату, подолгу сидел на скамейке, греясь на солнышке. Обследование затягивалось, что устраивало и Алексея, и низшее звено больничного персонала.

Вечером под окнами палаты появлялся друг Генка. Алексей, уже облаченный в джинсы и ветровку, выпрыгивал в сад через окно. Бледные сопалатники в пижамах с завистью глядели ему вслед. В больнице нужно было появиться к восьми утра, до врачебного обхода. Однажды Алексей не рассчитал: еще пьяный, с превеликим трудом взобрался на подоконник и окаменел – перед ним

стояли люди в белых халатах, и один из них возмущенно проскрежетал: «Без-зобр-разие!»

Ровно через неделю после этого, остриженный наголо и с вещмешком на плече, Алексей вышел из дверей военкомата. Во дворике стояли родители, друзья. Ждал автобус. Еще успели выпить водки на дорожку и наспех закусить бутербродами. «А-ать!» – «На за-ре, на заре, провожала милая на за-аре-э»...

Эту историю он вспомнил, когда в медицинском офисе заполнял анкету со стандартными вопросами: дата рождения, вес, рост. «Курите?» – «Нет». – «Жалобы?» – «Болит сердце».

...– Какая у вас страховка? – спросила секретарша.

– Никакой.

– Как же вы собираетесь расплачиваться?

– Кредитной карточкой.

Секретарша удивленно шевельнула бровями.

Чему удивляться? Не было у Алексея медстраховки. Потому что владелец газеты не обеспечивает медицинскими страховками своих наемных работников. Имеет полное право. И государство, самое богатое в мире, тоже почему-то не обеспечивает бесплатным лечением всех своих граждан. Стоит медстраховка дорого. Поэтому десятки миллионов (!) американцев живут без медицинских страховок. Надеются, что Бог

услышит их молитвы и им не придется обращаться к врачу.

...Вскоре, раздетый по пояс, он сидел в кабинете на кушетке, и врач прикладывала к его груди холодную чашечку фонендоскопа.

– Сколько вам лет?

– Тридцать восемь.

– Как давно у вас болит сердце?

– Месяца три.

– Как вы спите?

– Гм-гм... Плохо сплю.

– Вдохните глубже. Задержите дыхание и потом медленно выдыхайте. У вас в семье кто-либо страдает сердечными болезнями? Отцу делали шунтирование? Понятно. Повернитесь.

Он поднял высоко руки, и ребра под тонкой кожей проступили отчетливой. И снова металлическая чашечка перемещалась по его груди.

– Одевайтесь. Мы сейчас сделаем вам кардиограмму, возьмем анализ крови, выпишем таблеточки, – врач сложила «рожки» фонендоскопа и, еще раз мельком взглянув на него, сказала: – Еще я бы посоветовала вам обратиться к психиатру. Чему вы улыбаетесь? Я не шучу. В Нью-Йорке к психиатрам ходит каждый третий. Вы, похоже, человек впечатлительный, с нервишками. Думаю, что все ваши сердечные боли – вот здесь, – врач улыбнулась и легонько постучала указательным

пальцем по своему лбу.

Потом он сидел в сквере на скамейке. Просунул ладонь между пуговицами плаща и приложил к груди. Сердце разбухало, давило. Хотело разорваться. Нужно заказать таблетки. Стоят они, наверное, долларов сто. На врачей и на лекарства денег не напасешься.

Эх... вся беда в том, что никакие врачи и таблетки все равно не помогут. Болит – роман. Кривенькие буковки на белом листе. И ночная тишина, и огонек свечи на столе... А потом жжет и бахает в груди. И средство избавиться от этой боли только одно, простое и легкое – не писать.

Алексей помрачнел. Смял в кулаке пустой картонный стаканчик.

А поздним вечером в его квартире опять свистел чайник, и ручка лежала возле белейшего листа. Алексей курил, хмурился. Он выходил из Алексея и бродил в пустынных местах в поисках своего Героя.

## **Глава восьмая**

### **1**

Надвигалась волна, такая высокая, что не был виден ее гребень. Михаил нырнул головой. Плыл под водой вперед, пока сквозь колышущуюся



поверхность не стали проникать солнечные лучи. Еще одно сильное движение рук и...

Этот сон не имел окончания. По какой-то загадочной причине проклятый будильник всегда трещал в тот самый миг, когда сопротивление воды почти исчезало. Михаил просыпался и, не раскрывая глаз, нажимал на кнопку будильника. Снова воцарялась гробовая тишина. Недолго Михаил еще лежал на своем матрасе, на полу, надеясь вернуться в эту лазурную воду. Знал, что лазурь и плеск волн – последняя его радость в этот, еще не начавшийся день. Знал, что день этот будет длиться вечность, а он хотел лишь пару секунд иллюзорного блаженства. Губы его еще улыбались, длинные ресницы подрагивали, в лице зыбко проступали черты беззаботного подростка.

Но вскоре он открывал глаза, и у рта возникала горькая складка. Включал телевизор, дикторы говорили непонятно о чем. Но Михаилу нужны были не новости, а лишь звучание чьей-то речи. Он принимал душ, одевался и шел к метро; в брезентовой сумке за плечом погроюкивали инструменты.

В его походке, еще недавно щегольской, появилась некоторая жесткость. Разумеется, не шибко попрыгаешь, когда в сумке электродрель, пакеты шпаклевки и банки краски. Походка, однако, изменилась не только из-за тяжести сумки.

Он ведь шагнул в пролетариат, к малярам и строителям, где хотя и встречались бывшие художники и инженеры, но тон – простой и грубый – задавали работяги. И под этот тон нужно было подстраиваться.

Принцип один – поменьше думай. Окунай валик в краску, «закатывай» стену и следы, чтобы краска ложилась без пробелов и потеков. И подсчитывай, сколько долларов уйдет в этом месяце на оплату квартиры, на проезд, на зимнюю куртку, на...

А думать, переживать, жить? О-о... это потом. Это – роскошь. Михаил вот позволил себе поболтать с хозяйкой квартиры, где он сделал свой первый в Америке ремонт. А потом босс спросил, почему он потратил на этот ремонт целых два дня. Вот те раз. Он-то думал, что сделал все невероятно быстро. Растерянный, стоял перед боссом в прокуренной комнатухе, а дядя Гриша рядом виновато посапывал.

– Это – Амейика. Миллионы иммигрантов и нелегалов здесь готовы вкалывать за копейки, – говорил потом дядя Гриша, и его повеселевший голос звучал далеко, хотя они шли рядом. – Здесь, племящ, с тобой никто не будет нянчиться. Босс скажет: «Отдохни. Когда понадобишься – позвоню».

– И что? – спросил Михаил.